

УДК 811.161.1
ББК Ш141.2

ГСНТИ 16.21.27; 16.01.11

Код ВАК 10.02.01; 10.02.19

Г. П. Мельников
Москва, Россия

G. P. Melnikov
Moscow, Russia

**В ЧЕМ СОСТОИТ СВОЕБРАЗИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА И КАКИМИ ФАКТОРАМИ
ОНО ОБУСЛОВЛЕНО**

**PECULIARITIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE
AND FACTORS WHICH DETERMINE THEM**

Публикацию подготовили М. Ю. Федосюк,
Т. Л. Ляхнович, Т. В. Ващекина

The publication is prepared by
M. Yu. Fedosiuk, T. L. Liakhnovitch,
T. V. Vashchekina

Аннотация. Публикация лекции, в которой многие специфические особенности системы русского языка описаны как следствия его установки на описание любых ситуаций как развивающихся событий.

Abstract. A publication of a lecture, in which many specific features of the Russian language are described as a result of its aim at description of any situation as a developing event.

Ключевые слова: системная лингвистика; индоевропейские языки; русский язык; языковой коллектив; развивающееся событие; словообразование; синтаксическая метафора.

Key words: systemic linguistics; Indo-European languages; the Russian language; language group; developing event; word formation; syntactic metaphor.

Сведения об авторе: Мельников Геннадий Прокопьевич (1928—2000), доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания.

About the author: Melnikov Gennadij Prokopievich (1928—2000), Doctor of Philology, Professor, Department of General and Russian Linguistics.

Место работы: Российский университет Дружбы народов.

Place of employment: Peoples' Friendship University of Russia.

Сведения о публикаторе: Федосюк Михаил Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, кафедра теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения (расшифровка аудиозаписи, её редактирование и подготовка предисловия).

About the author: Mikhail Yurievich Fedosyuk, Doctor of Philology, Professor, Chair of the Theory of Foreign Language Teaching, Faculty of Foreign Languages and Area Studies (decoding the audio recording, its editing and writing the Foreword).

Место работы: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Place of employment: Lomonosov Moscow State University.

Контактная информация: Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ, Ломоносовский проспект, 31/1, 119192, Москва, Россия.

e-mail: fedosyuk@tochka.ru.

Сведения о публикаторе: Ляхнович Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра английского языка (расшифровка аудиозаписи).

About the author: Liakhnovitch Tatiana Leonidovna, Candidate of Philology, Assistant Professor of the Chair of the English Language (decoding the audio recording).

Место работы: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.

Place of employment: Belarusian State Agricultural Academy.

Контактная информация: кафедра английского языка БГСХА, ул. Мичурина, 5, г. Горки Могилевской области, 213407, Беларусь.

e-mail: vktll@mail.ru.

Сведения о публикаторе: Ващекина Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, кафедра сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения (расшифровка аудиозаписи).

About the author: Vashchekina Tatiana Vladimirovna, Candidate of Philology, Senior Lecturer of the Chair of Comparative Language Studies, Faculty of Foreign Languages and Area Studies (decoding the audio recording).

Место работы: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Place of employment: Lomonosov Moscow State University.

Контактная информация: Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ, Ломоносовский проспект, 31/1, 119192, Москва, Россия.

e-mail: vascjulia@yandex.ru.

Язык, как и любой инструмент культуры или техники, формируется под влиянием потребности использования в определенных условиях. Если конкретизировать этот тезис применительно к индоевропейским языкам, то зарождение их строя начинается в те времена, когда племена охотников-собирателей приступают к освоению культуры земледелия. Такое изменение образа жизни позволяет людям

обеспечить себе на сравнительно небольшой территории достаточно большой и надежный воспроизводимый источник пищи. В результате население постепенно разрастается, занимая все более обширную территорию, но при этом оно утрачивает ту возможность поддерживать непосредственные контакты между каждым из членов общества, которая существовала в микроколлективах охотников-собирателей.

© Мельников Г. П., 2012

© Федосюк М. Ю., Ляхнович Т. Л., Ващекина Т. В., публикация, 2012

Между тем для постоянного совершенствования способов хозяйствования земледельцам очень важно, чтобы каждый, кто изобрел что-либо новое в посадке, уборке, хранении урожая и т. д., делился своим опытом с другими. Следовательно, такое разрастающееся общество нуждается в существовании надежного способа многоступенчатой передачи от одного члена коллектива к другому социально полезной информации. Если в микроколлективе охотников-собирателей каждый способен передавать новую информацию всем и сразу, тем самым без существенных искажений и потерь, то в разрастающемся оседлом земледельческом коллективе информация распространяется путем большого количества ретрансляций. Поэтому постепенно должна сформироваться такая система языка, которая имеет значительное число механизмов, обеспечивающих предохранение сведений от ситуации «испорченного телефона».

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению этих механизмов в русском языке, необходимо отметить одно важное отличие славянских языков, и прежде всего русского, от прочих индоевропейских. Оно состоит в том, что именно славянские языки последовательно развили те тенденции, которые задали направление формирования всех индоевропейских языков. Что касается других индоевропейских языков, то они с течением времени попадали в иные условия (например, в условия относительно быстрого смешения разных народов) и были вынуждены уже отработанную технику общения специализировать применительно к некоторым новым требованиям. Кроме того, в русском языке с его очень высокой численностью носителей исходные индоевропейские тенденции развития успели проявиться более полно, чем в других славянских языках.

Задумаемся: как можно сделать так, чтобы при многочисленных цепочках передач информации говорящий и слушающий были уверены в том, что содержание было понято правильно и что его можно передавать дальше?

Самый несложный вариант — это простое повторение чего-нибудь. Так на переправе обычно кричат на другой берег: «Лодку... Лодку... Давай... Давай...». Спрашивается: если ли в русском языке какие-либо элементы, когда некоторая информация повторяется? Да, и это проявляется постоянно. Когда мы произнесли *белая стена*, то мы показали, что слово *белая* имеет значения женского рода, единственного числа и именительного падежа. Но ведь и слово *стена* тоже. При этом прилагательные или, например, причастия в русском языке имеют такую форму, что мы легко можем отличить их от других частей речи. Таким образом, воспринимая, например, причастие *крашенная*, мы понимаем, что перед нами определение к некоему существительному, которое имеет жен-

ский род, единственное число и именительный падеж, и когда такое существительное обнаруживается, то у общающихся появляется уверенность, что они правильно понимают друг друга. А если я, например, услышу *крашенная...*, а потом *стул*, то сразу же будет замечена ошибка. То есть система построена таким образом, чтобы можно было любые возникшие сомнения немедленно обнаружить и, пока не закрепилась ошибка, выяснить их причину, исправить и только тогда двигаться дальше.

Но можно ли добиться того, чтобы была еще одна, дополнительная, как можно более глубокая проверка того, что информация воспринята правильно? Другой очень эффективный способ увеличения надежности общения состоит в следующем: говорящий должен строить свою речь таким образом, чтобы слушающий имел максимум возможностей предугадывать, что будет дальше. Собственно, уже и в примере с *белой стеной* мы видим предугадывание. Но предугадывание проявляется еще и в том, что изложение любого сюжета в индоевропейских языках стало строиться так, чтобы давать адресату возможность предсказывать, что будет дальше.

Подобное предугадывание возможно, если сюжет подается как описание картины развития с причинно-следственными связями. В этом случае, если нам ясно называют причину, мы уже сами начнем догадываться, к каким следствиям это может привести, а какие гипотезы о развитии ситуации надо отбросить. И когда подтверждается наша догадка, это дает нам основания быть уверенными, что мы всё правильно поняли. По этой причине любое содержание желательно представить собеседнику по схеме развивающегося события. И вот в индоевропейских языках возникает сложная грамматическая система, которая обеспечивает принцип наибольшей возможности для слушающего сделать максимум предсказаний относительно того, что будет в конце. Это обеспечивает процесс самопроверки: слушая, я предугадываю, потом убеждаюсь, что мои прогнозы совпали с тем, что сказал говорящий, и тогда я уверен, что всё правильно понял. В случае рассогласования схема трансформируется: я предугадывал одно, а мне было сказано другое, тогда я попытаюсь остановить собеседника и выявить причину. В результате ошибки при передаче информации не накапливаются.

Понятно, что легче всего говорящему обеспечить для слушателя самопредсказание и самопроверку в том случае, когда сюжет, о котором рассказывает говорящий, действительно представляет собой развивающееся событие. И наоборот, если описывается просто пейзаж, так сказать, открыточка — лес, поле впереди и т. д., — то изобразить его как развивающееся событие гораздо труднее. Но об этих трудностях мы поговорим позднее.

Что делает язык для описания развивающихся событий? Еще с праиндоевропейских пор языковые знаки расчленились на два класса: одни обозначают собственно действия как первый толчок события, а другие — различных участников события, определения, обстоятельства и т. д. Возникнув в праиндоевропейские времена, это противопоставление до сих пор сохранилось в нашем языке и сидит в нашем подсознании. Иногда по одному только корню, безо всяких грамматических показателей, мы легко можем отличить, в каком случае говорящий намекает нам на первый толчок, на действие, а в каком — на нечто, отвечающее на вопросы *кто?*, *какой?* и др.

Это противопоставление проявляется в том, что у нас до сих пор живет чередование внутри корня. Возьмем, например, корень *-нес-* // *-нос-* // *-наш-*: *нести*; *носить*; *нашивать*. Корень *-нес-* — глагольный, это древнейший праиндоевропейский намек на то, что речь идет именно о действии как о первом толчке события. А если перед нами корни *-нос-* или *-наш-*, то они в первую очередь указывают либо на субъекта, либо на инструмент, либо на результат, либо на качество, но только не на действие. Не случайно в слове с глагольным корнем *нес-ти* показатель инфинитива *-ти* добавляется к корню непосредственно, а в словах с именными корнями *нос-и-ть* и *наш-ива-ть* — лишь при посредничестве промежуточных элементов.

Чтобы продемонстрировать до сих пор не утраченную актуальность разграничения глагольных и именных корней, приведу пример. В современном русском языке есть такие сложные слова, у которых второй элемент состоит из одного корня, например *водонос*, *лесовоз*, *зверобой*. Подобные слова всегда обозначают предметы, а не действия, и среди них мы не найдем такого, у которого вторым корнем был бы корень типа *-нес-*, а не *-нос-*. Кто придумает слово, чтобы во второй части стояло *-нес-*, например **водонос?* Такое слово просто не складывается у нас в голове.

Я специально дал своему аспиранту такую работу, он взял целый словарь, просмотрел много слов подобного типа, и в результате мы пришли к выводу, что если корень имеет чередование, то на втором месте может стоять только тот чередующийся вариант, который является исходно именным, и никогда эту позицию не займет глагольный. В принципе второй элемент может быть глагольным, но тогда нам придется добавлять суффиксы — нейтрализаторы глагольности, например: *водо-при-нес-ени-е*.

Продолжим наши рассуждения. Если считать, что мы стремимся всякий сюжет прямо или метафорически изобразить как развивающееся событие, то можно определить, какие грамматические категории для этого необходимы.

Поскольку речь идет о развитии события, у нас должны быть какие-то ориентиры для описания этого события и должны быть четко отражены временные характеристики. Представим себе встречу двух людей: один с юга России, другой — с севера, мы в жизни друг друга не видели, но мы представители одной культуры, одного языка, одной манеры выражения, одной заинтересованности в глубоком взаимном понимании, и нам нужно теперь найти какую-то точку опоры для того, чтобы описать событие, начиная с каких-то координат. В этой ситуации самая надежная точка отсчета — это момент общения. И поэтому в процессе формирования индоевропейских языков способы обозначения точки отсчета времени видоизменялись и в конце концов (а совсем не изначально, как утверждают многие лингвисты) стали опираться именно на момент говорения. Важно обозначить, происходило ли то, о чем мы рассказываем, до момента говорения, происходит ли в момент говорения или будет происходить после. Следовательно, категория времени — это категория, которая должна была в индоевропейском языке рано или поздно развиться. И наиболее последовательно она развилась именно в славянских языках.

И второй момент. Если мы описываем некий сюжет как событие, а наш адресат начинает прогнозировать это событие, то обнаруживается, что все события распадаются на два класса. Есть такие события, о которых говорящий знает, как они развивались и чем завершились. А есть события, по отношению к которым говорящий был очевидцем, видел, как это событие началось, но при этом не знает, чем оно кончилось. И для правильного прогнозирования собеседнику очень важно подсказать, какого класса это событие — событие, исчерпанное в том или ином виде, или неисчерпанное. По этой причине в славянских языках (и только в них) развилась категория совершенного/несовершенного вида. О ее существовании славистам долгое время было неизвестно. Только приблизительно сто лет назад А. А. Потехня первым сказал, что кроме всех прочих категорий существует еще и категория совершенности/несовершенности.

Далее, если у нас уже сами слова либо за счет своего корня, либо за счет дополнительных префиксов или постфиксов противопоставлены как имена и глаголы, то благодаря этому мы можем попытаться описать любой сюжет как развивающееся событие. Однако каким образом? Возьмем ситуацию «Брат кидает куклу сестре» и попытаемся представить разные ее стадии в атомарном виде, пользуясь только именами и глаголами. Тогда мы скажем: *Брат кидает, кукла летит, сестра ловит*. Получилась цепочка микрособытий. Однако чтобы не было громоздкости, язык с древних времен разработал следующий алгоритм: обозначение инициатора стоит в некоторой специ-

альной форме — именительном падеже: *брат*; его действие как первый толчок обозначено глаголом: *кидает*. Стадии, на которых в событие включаются все прочие его участники, можно не обозначать при помощи глаголов, а дать только алгоритм вычисления ролей этих участников в описываемом событии. Винительный падеж слова *куклу* указывает на то, что под влиянием действия «кидает» кукла летит, а дательный падеж существительного *сестре* — что сестра куклу ловит.

Эта система настолько тонко отработана, что она способна описывать и сюжеты, в которых есть участники, не принимающие прямого участия в развитии события, а лишь примыкающие к нему. Добавим, например, слово *сад*: *Брат кидает куклу сестре в саду*. *Сад* что-нибудь делает в связи с тем, что брат кинул куклу? Он ничего не делает, но в то же время, чтобы полностью описать это событие, надо посмотреть, чем оно «обстоит». Оно обстоит садом. *Сад* — это обстоятельство, обозначение места. Нам важно не перепутать непосредственных участников разных этапов развития события и таких участников, которые в само событие не вмешиваются, но тесно к нему примыкают. И вот в процессе развития славянских языков произошла следующая специализация средств: если перед нами участник, не производящий никаких действий, которые связаны с действием инициатора, он будет упомянут, однако с помощью более аналитического способа, а именно с помощью предлога.

Как объяснить, например, иностранцам, почему по-русски нельзя сказать **Я кидая ложку стене?* Дело в том, что здесь *стене* — форма беспредложного дательного падежа, а этот падеж обозначает того участника, который обеспечивает последнюю фазу в описываемом событии. В случае с глаголом *кидаю* последняя фаза — «ловить», а стена ловить не может, поэтому мы должны упомянуть ее только с предлогом: *Я кидая к стене / в стену*, но не **стене*. Мало того, если сестра вдруг закапризничает и я наверняка знаю, что она не будет ловить, то я тоже скажу: *Я кидая в сестру или к сестре*.

С этой точки зрения становится понятным ход развития языков. В своих более древних, но уже отраженных в летописях состояниях славянские языки были рассчитаны не на такое количество передач, описывали не столь сложные события, опасность «испорченного телефона» была меньше, и разница между обстоятельством и дополнением была не так важна. Поэтому говорили и писали без предлога: *Володимир княжил Кыеве; Князь пошел Кыеву*. Потом стало важным различать, что входит, а что не входит в событие, и теперь в подобных примерах совершенно обязательно перед *Киевом* ставить предлог.

Возьмем другой пример — конструкцию *Я хочу пить*. Почему «хочу» выражено здесь

спрягаемой формой глагола, а «пить» — инфинитивом? Если признать, что русский язык постоянно настраивался на событийность, то это легко объяснить. «Я хочу» — это моя интенция, это как бы действие. А вот буду я пить или не буду — это еще неизвестно. Следовательно, мое активное состояние входит в событие, а «питие» не входит. Всё, что входит в событие, описано по-индоевропейски, синтетически, а «пить» — это уже дополнительное аналитическое пояснение. Данная конструкция иллюстрирует следующую удивительную особенность строя русского языка как представителя славянских: всё, что является неразрывным с точки зрения развивающегося события, то по возможности и в языковых знаках представлено как тесно сплетенная, сомкнутая конструкция, а всё, что с точки зрения событийности оказывается менее тесно примыкающим, и на уровне знаков не столь тесно примыкает. Поэтому когда говорят, что славянские языки стремятся к синтетизму, — это, по-моему, неточная формулировка. Там, где сюжет с точки зрения события является целостным, там наши знаки стремятся увязаться, построиться по законам синтетизма. А там, где сюжет имеет разрыв в развитии события, и знаки стремятся разделиться, аналитизироваться. Поэтому выражение *Володимир княжил Кыеве* более синтетично, чем *в Киеве*, но, язык пошел на аналитизм, чтобы подчеркнуть аналитичность самого сюжета. А всё, что в сюжете действительно синтетично, то и выражается синтетично.

Возьмем другие примеры: *Я слышу, что поют птицы* и *Я слышу, как поют птицы*. В русском языке здесь получается два куска, два события, хотя и связанных между собой союзным средством. А если мы возьмем английский, французский или немецкий язык, то там подобных двух центров нет. При буквальном переводе с этих языков получается примерно следующее: *Я слышу птиц петь*. Почему русский язык не терпит подобного соединения? Да потому, что перед нами два разных события, несопоставимых по своей инициативности. «Я слышу» — это слабая степень активности: я только позволил своим органам чувств работать. А чтобы запеть, нужна большая степень инициативности: надо напрягаться, надо думать, о чем петь, кому петь, какое выражать чувство.

Возьмем другой случай. Предположим, я дрессировщик и могу заставить птиц петь. В такой ситуации именно я инициатор сложного события, и потому по-русски это опишут простым предложением *Я заставил птиц петь*, совсем как по-английски или по-французски. Мы видим, что в западных индоевропейских языках чувствительность к степени событийности понижена: в свое время носители этих языков ушли с благодатных степных, лесостепных земледельческих угодий, им нуж-

но было приспособляться к новым условиям и пришлось пожертвовать многими достижениями индоевропейских языков, которые славяне продолжали развивать.

Теперь обратим внимание на высокую ориентированность русских сложных предложений на восприятие адресата, на то, чтобы собеседник чувствовал себя комфортно и понимал, что говорящий обеспокоен тем, как понимаются его слова. Предположим, я начинаю предложение словами *Я слышу...* Естественно, что в голове у собеседника возникает вопрос: «что?». И с целью подтвердить, что я понял это ожидание адресата, я как бы повторяю его вопросительное слово, а после этого даю ответ: *Я слышу, что птицы поют.* Совсем не случайно многие средства связи в русских сложноподчиненных предложениях восходят к вопросительным местоимениям и наречиям, тогда как в западноевропейских языках в этой функции обычно используются указательные местоименные слова.

Если более подробно рассмотреть английский язык, то мы увидим, что в нем идет следующий процесс: многие конструкции, выглядящие стилистически староватыми, содержат подчинительные союзы, тогда как новейшие конструкции строятся вообще без союзов. По-английски, например, можно сказать: *Человек ты его видел вчера придет ко мне завтра.* В данном случае степень ориентированности на восприятие адресата, степень эмпатии падает, поскольку нет заботы о том, что полученная информация будет многократно передаваться.

Возьмем теперь сочинительные союзы, такие как *и, но, а.* В русском языке есть еще сочинительный союз *да.* Это наиболее древний, недифференцированный показатель связи, он указывает лишь на то, что вторая часть связана с первой. Поэтому говорят *мал, да удал.* Это противопоставление. А в словосочетании *Иван да Марья* никакого противопоставления нет. Но уже союз *и* ориентирован на восприятие адресата. Если я скажу: *Вчера я пришел к своему брату, и мы с ним выпили и поговорили,* — я тем самым поощряю адресата: «Молодец! Ты всё прогнозируешь правильно». А если я скажу: *Вчера я пришел к своему брату, но...*, — то я информирую адресата: «Молодец, ты правильно прогнозируешь, но ситуация-то была нестандартная, и твой прогноз не оправдался».

Теперь задумаемся: как перевести на английский язык предложения с союзом *но* и с союзом *а*, например *Я пришел, но...* и *Я пришел, а...?* Очевидно, что в английском языке в любом случае будет использован союз *but:* разницы между *но* и *а* в английском языке нет. Но ведь союз *а* обозначает особый случай. Предположим, я принес для вас кучу книг и говорю: «Вам я сделал такую надпись, ему — такую, ей — такую» и вдруг замолчал. И тогда вы спрашиваете: *А мне какую?* Что такое союз *а?* Это своего рода сигнал тревоги. Он означа-

ет, что ситуация разговора навела на тему, но передача информации почему-то прервалась. Этот сигнал может быть подан слушающим, который спрашивает: *А мне какую?*, — а может быть предугадан говорящим. И тогда я, не дожидаясь вашего вопроса, скажу: *А вам я красными чернилами написал признание в любви.* Говоря *а...*, я информирую собеседника о том, что я его понимаю и не просто подтверждаю его право на прогноз, но еще и догадываюсь о том запросе, который у него возник.

Поговорим теперь об интонации. Интонация, если мы возьмем славянские языки и особенно русский, удивительно многообразна. Есть основные типы интонации, и существует множество полутонов. Когда англичанин слушает разговор русских, он начинает раздражаться примерно так же, как мы, когда смотрим какой-нибудь итальянский фильм. Англичанина раздражает повышенная эмоциональность русской речи. Спрашивается: зачем нужна такая интонация? Оказывается, при помощи интонации мы еще раз дублируем передаваемую информацию. Предположим, я о чем-либо рассказываю. При этом я исхожу из того, что мой собеседник одного со мной мировоззрения, одной этики, и потому всё, что меня возмущает или радует, будет возмущать и радовать и его. И если моя интонация не совпадет с эмоциями адресата, это будет свидетельствовать, что произошел какой-то сбой в передаче информации и адресат что-то понял неправильно. Таким образом, интонация — это еще один способ поддержания уверенности, что информация передана точно.

Все знают, что в русском языке сравнительно поздно развилась так называемая редуция гласных. К примеру, мы пишем *молодой*, но четко произносим [о] только в последнем, ударном слоге. В русском языке достаточно многословных слов, но при этом мы почему-то достаиваем четкости произношения только один из слогов, а все остальные произносим очень серо. Почему это так? К сожалению, никто из фонетистов на этот вопрос не отвечает. Говорят: «Так исторически сложилось». Может быть, в этом проявляется экономия усилий? Но тогда спрашивается: почему среди индоевропейцев русские самые экономные, а другие народы нет? А дело в том, что редуция тесно связана с интонацией. Мы уже говорили, что, говоря по-русски, нам нужно всё интонационно подтвердить. Но интонацию-то надо на что-то положить, и если мы ее будем накладывать на четко произносимые гласные, то сама артикуляция гласных сломает интонацию. А если у нас серый вокалический фон, то на нем легко выразить и интонационный тон, и полутон, и четверть тона. Таким образом, в русском языке постепенно выработалась тончайшая система редуцированных гласных, которая обеспечила еще один канал для проверки точности передачи информации.

Как известно, многие языки устроены таким образом, что в них получает специальное выражение то, что неочевидно собеседнику, а на том, что очевидно, эти языки экономят. Что же касается русского языка, то это как бы язык с большими излишествами. И именно они обеспечивают высокую надежность коммуникации.

В русском языке очень богатая стилистика. Один и тот же предмет можно, например, называть и *деньги*, и *деньжата*, и *деньжищи*, и *денежки* и т. д. В отличие от других индоевропейских языков, славянские обладают богатейшим набором суффиксов, причем эти суффиксы распространяются не только на имена. *Спатьеньки хочешь?* — здесь уменьшительную форму имеет глагол. Это связано с тем, что не только интонация, но и суффиксы передают мнение говорящего об описываемом событии. Если моя оценка совпадает с оценкой собеседника, то это снова свидетельствует о нашем полном с ним взаимопонимании, и мой собеседник теперь с чистой совестью будет пересказывать услышанное другому, потому что уверен, что сам всё точно понял.

К сожалению, роль суффиксов эмоциональной оценки в грамматиках часто не понимают. Нередко говорят, что эти суффиксы обозначают, например, уменьшительность, увеличительность и т. д. Получается, что такие суффиксы оказываются как бы дубликатами прилагательных типа *маленький* и *большой*. Но я обычно привожу простой пример. Мальчик-с-пальчик попал в пещеру великанов. Он там себя хорошо вел, они тоже оказались люди хорошие. А потом он сказал: «Мне пора уходить», — и на прощание *поцеловал великанше ручку*. Кому-нибудь это режет слух? Он — мальчик-с-пальчик, она — великанша. И *ручку* он ей поцеловал не потому, что эта часть тела маленькая, а потому, что такое слово выражает и его, и нашу благодарность этой доброй женщине.

Между прочим, всё это говорит о важной особенности славянской души — «выворачивать себя наизнанку». Что значит *выворачивать наизнанку*? Это значит постоянно надеяться на то, что перед тобой человек, очень близкий тебе по духу, хотя, может быть, с точки зрения родства только пять тысяч лет назад у вас с ним были общие родственники. И это ощущение родства является необходимым условием того, чтобы громадный народ продолжал быть уверенным, что в нем существует единое представление о мире, об отношении к природе, о том, как люди друг к другу должны относиться, необходимым условием того, что такое громадное общество не развалится.

Как мы уже говорили, бывает очень удобно, когда сюжеты, которые мы излагаем собеседнику, укладываются в схему развивающегося события. Но ведь сюжеты бывают разные, и многие из них в эту схему могут не уклады-

ваться. Что тогда делать русскому языку? Делать то же, что делают и другие языки. У каждого языка есть, так сказать, «удобовыразимые» и «неудобовыразимые» сюжеты. И если сюжет не содержит никакой динамики, то мы можем идти двумя путями: либо выражаться как бы на языке иностранца, который без всякой грамматики скажет: «Моя твоя мал-мал понимать», — либо метафоризировать — использовать такую метафору, как будто мы рассказываем о развивающемся событии.

Возьмем простой пример: предположим, нам надо сообщить кому-нибудь о том, что Земля — спутник Солнца. Есть тут какое-нибудь движение? Есть какое-нибудь изменение? Есть какой-нибудь результат? Есть какой-нибудь инициатор? Ничего этого нет. Перед нами простая классификация. Тогда как ее выразить? Один вариант — это построить неуклюжую в контексте синтетического строя русского языка аналитическую фразу *Земля — спутник Солнца*, другой вариант — прибегнуть к метафоре. В этом случае можно сказать: *Земля является спутником Солнца*. Как будто бы она взяла и «явила» себя кому-то спутником Солнца. А можно — *Земля представляет собой спутник Солнца*. Как будто Земля — это актриса, которая что-то представляет.

А вот другой пример. Предположим, мы пошли в поход, поднялись на горку, и вдруг перед нами открылся пейзаж. Пейзаж красивый, но он не динамичен. Тихий день, на небе ни облачка, и ничего не шевелится. Но мы можем искусственно «зашевелить» этот сюжет, и тогда русская грамматика заработает. Допустим, мы видим перед собой речку. Мы видим, что внизу долина заросла лесом, и в одном месте лес вышел за пределы долины. И тогда мы скажем: *Течет и серебрится речка*. Уже тут появилась динамика: мы, может быть, даже не видим, что речка течет, но мы обязательно скажем *течет*. А потом скажем: *Рощица карабкается на склон холма*. Она, конечно же, не карабкается, но мы используем метафору, чтобы уложить нашу картину в приемы русской грамматики. И наш собеседник легко поймет, что перед ним метафора, у него на конечном уровне сознания получится статическая картина, но она была передана через промежуточные динамические образы.

Существуют такие сюжеты, которые связаны с состоянием дел. Но состояние дел не содержит в себе никакой динамики. И русский язык стремится любое состояние дел представить как нечто событийное. Например, если речь идет просто о времени года, о погоде, то что мы делаем? Мы вносим элемент динамики только ради того, чтобы воспользоваться стандартным механизмом русской грамматики. Например, мы говорим: *Стояла зима*. Где она стояла? На чем она стояла? Но наш собеседник легко понимает, что мы прибегли к метафоре, и легко воспринимает содержание наше-

го высказывания. Если мы хотим сказать, что состояние погоды — «снежное», то мы говорим: *Идет снег*. Разумеется, снег не может идти, у него нет ног. Просто таким образом мы преподносим статический параметр как параметр динамический.

Если наступают сумерки, мы говорим: *Вечереет*. Дело в том, что сказать *Сумерки* — это статично, а когда мы говорим *Вечереет*, то получается, что нечто действует, оно «вечерее», оно становится все «вечерее» и «вечерее». Или, предположим, у меня внутри как-то неприятно. Как описать эту мою неприятность, если желательно изобразить ее как действие, как событие? В результате я говорю: *Меня мутит* или *Меня тошнит*.

Что касается грамматистов, то они уже не первый век ломают голову над тем, что такое безличное предложение. Здесь даже в самих терминах накопилась путаница. Принято говорить, что существует «безличный глагол», например *вечереет* или *морозит*, и что он стоит в форме третьего лица единственного числа. «Безличный» — но в третьем лице! А следовало бы сказать, что в подобных предложениях мы вынуждены обойтись без подлежащего и, поскольку данное состояние некому приписать, изображаем состояние как псевдособытие. Бесконечные споры лингвистов возникают именно потому, что не уловлено главное: русский язык приспособлен для выражения событийных сюжетов и в результате пытается выразить событийные и несобытийные сюжеты. Там, где встречается этот конфликт, возникают некоторые нестандартные конструкции. Но вместо этого начинают говорить, что *Вечереет* — это, по-видимому, реликт дохристианского мышления, когда человек приписывал природе какие-то потусторонние силы. Однако подобные странные обороты перестают быть странными, если мы понимаем, что перед нами всевозможные метафорические способы подгонки несобытийных сюжетов под событийные конструкции русского предложения.

Поговорим теперь о русском словообразовании. Почему, например, в русском языке так много суффиксов со значением участника события: и *-тель*, и *-щик*, и *-ник*, и *-ун*, и *-ыш*? В романских и германских языках подобных суффиксов значительно меньше. Оказывается, и здесь всё сделано таким образом, чтобы можно было легко описывать события, чтобы по самому слову уже можно было предположить, какова наиболее вероятная роль данного участника события и в какой мере она соответствует его фактической роли.

Посмотрим, к примеру, какова разница между суффиксами *-тель* и *-ун*. *Выключатель* — он что-то выключает, а *крикун* — кричит. Но обратите внимание на то, что слова с *-тель* чаще всего имеют приставку. Кроме слова *выключатель* можно придумать какое-нибудь *включатель*, *отключатель*, *переключатель*

и т. д. А вот если мы возьмем слова на *-ун* типа *бежун*, *крикун*, *болтун*, *прыгун* и т. д., то они почти все без приставок. В чем дело? А дело в том, что при описании сюжета как развивающегося события желательно подчеркнуть, кто делает первый толчок и на кого этот толчок переходит. Если, например, перед нами глагол *выключать*, то совершенно ясно, что кто-то или что-то является выключающим, а что-то — выключаемым. В то же время есть действия, которые создают событие, исчерпанное самим этим действием. К примеру, если я бегу, то я просто бегу и бегу. И этим дело кончено. В такое событие не втянут никто, кроме самого бегущего. Следовательно, при обозначении деятелей важно указывать, инициаторами каких событий они являются. Может быть такой инициатор, который своим действием начинает втягивать других, и в этом случае адресату удобно прогнозировать, кто еще появится при описании данного события. А может быть инициатор такого действия, которое исчерпывается лишь активностью самого инициатора, и тот факт, что дальше никто не появится, будет лишним подтверждением, что между говорящим и слушающим имеется полное взаимное понимание. Именно поэтому от бесприставочных глаголов чаще всего образуются существительные на *-ун*: *крикун* — он просто кричит, *болтун* без конца болтает, *бежун* бежит. И уже сама форма на *-ун* говорит о том, что действие не распространяется на других участников. И наоборот: если глагол имеет приставку, то к нему скорее всего будет добавлен суффикс *-тель*. Уже сама приставка заставляет ожидать, что в событии должно быть несколько участников, и на это специально указывает суффикс *-тель*.

А теперь о словах на *-ыш*. Это какие-нибудь *подкидыш*, *приемыш*, *заморыш*. Слова с этим суффиксом обозначают таких участников событий, которые не активны, не инициативны и чаще всего оказываются страдательной стороной. При помощи того же суффикса могут быть образованы слова и от прилагательных. И если мы скажем о ком-то, что он *крепыш*, т. е. вроде бы подчеркнем, что он крепкий, то мы никогда не будем иметь в виду большого и здорового мужчину. А вот про низкорослого человека или про ребенка мы можем сказать: *Он такой крепыш*, — и тем самым намекнуть на его потенциально пассивную роль в событийных ситуациях.

Еще один пример. В русском языке есть большая группа слов, которые вообще не оформлены как существительные. Это такие слова, как *столовая*, *закусочная*, *приемная*, *прачечная*, *котельная*, *бойлерная*. В предложениях они ведут себя как существительные, но формы существительных не имеют. Давайте подумаем, почему. Мы уже говорили, что если у нас развивается событие, то у нас, во-первых, есть инициатор, тот, кто дает первый

толчок, и к нему добавляется глагол, указывающий, каков этот первый толчок. А потом появляются участники, которые как бы подхватывают развитие события. Например: *Я кидаю мел*. Мел включился в событие: я кидаю, а он летит. Мел — это часть, это этап развития события. Представим другое предложение: *Я кидаю мел в аудитории*. Аудитория вошла в описание ситуации, но вытекает ли ее участие из моей инициативы? Нет. Следовательно, она только примыкает, только «обстоит» это событие. Она является партиципантом события, но не актантом, не действующим лицом. Так вот, оказывается, что в русском языке названия всевозможных объемов, площадей, мест, т. е. обозначения потенциальных обстоятельств действия, не предрасположены к обладанию характеристиками полноценного существительного. *Столовая* — это место, где едят, *приемная* — где принимают людей, *операционная* — где делают операции. Даже если мы говорим *Столовая открыта* или *Столовая закрыта*, она сама ничего не делает. И вот для подчеркивания неполноценной актантности того или иного предмета русский язык идет на то, чтобы не оформлять это слово как настоящее существительное. Разумеется, места могут быть названы и существительными: *ресторан, трактир, кабак*. Однако подобные существительные в своем подавляющем большинстве слова заимствованные.

Кроме того, в русском языке есть целая серия словесных пар, представляющих с одной стороны явного инициатора действия, а с другой того, кто имеет нулевую или даже отрицательную инициативу. Например, есть *судья*. А кто его антипод? *Подсудимый*. Есть адвокат. А его антипод — *подзащитный*. Есть *грабитель*. А его антипод — *пострадавший*. Есть *врач*, а его антипод — *больной*. И все эти пассивные антиподы «погон существительных» на себя не надели.

Может показаться странным, что иногда в русском языке субстантивированные прилагательные обозначают и вроде бы активных деятелей. Это такие слова, как *полицейский, городовой, постовой, городничий, десятский, сотский, кошевой, хорунжий*. Вспомним также слова *военный* и даже *главнокомандующий*. Почему всё это не полноценные существительные? Да потому, что настоящие существительные называют инициаторов действия. А перечисленные мною слова обозначают таких лиц, которые входят в некоторую надсистему, где им четко предписана определенная функция, и действовать по собственному произволению они не имеют права. Следовательно, фактически они не инициаторы.

Итак, мы теперь видим, что чувство событийности пронизывает весь строй русского языка и именно этим можно легко объяснить очень многие его, казалось бы, странные особенности.